

## ПРОГУЛКА В АКАДЕМИЮ ХУДОЖЕСТВ<sup>1</sup>

*Письмо старого московского жителя к приятелю в деревню его Н.*

[327]

Ты требуешь от меня, мой старый друг, продолжения моих прогулок по Петербургу. Повинуюсь тебе.

На этот раз я буду говорить об Академии художеств, которая после двадцатилетнего нашего отсутствия из Петербурга столько переменялась... «Говори, говори об Академии художеств!» — так воскликнешь ты, начиная чтение моего болтливое письма. Мы издавна любили живопись и скульптуру, и в твоём маленьком домике на Пресне (которого теперь и следов не осталось!) мы часто заводили жаркие споры о голове Аполлона Бельведерского, о мизинце Гебы славного Кановы, о коне Петра Великого, о кисти Рафаэля, Корреджио, даже самого Сальватора Розы, Мурильо, Койпеля и пр. Так — я во многом с тобой соглашался, а ты ни в чём со мною, а ещё менее с добрым живописцем Ализовым, с товарищем славного Лосенкова, который часто смешил и сердил нас своим упрямством и добродушием. Мы спорили; время летело в приятных разговорах. Счастливое, невозвратное время! Пожар Москвы поглотил и домик твой со всеми дурными картинами и эстампами, которые ты покупал за бесценок у торгашей на аукционах, а в Немецкой слободе у отставных стряпчих; он поглотил маленькую Венеру, в которой ты находил нечто божественное, и бюст Вольтеров с отбитым носом, и маленького амура с факелом, и бронзового фавна, которого Ализов отрыл... будто бы на развалинах какой-то бани близ Неаполя и которым он приводил в восхищение и тебя, и меня, и всех знатоков нашего квартала. Пожар, немилосердый пожар поглотил даже акациеву беседку, с красивыми скамейками, с дубовым столом, на котором мы, разливая чай, любовались прелестными видами:

[328]

Москвой-рекою, которая извивается по лугу вокруг стен и высоких башен Девичьего монастыря, Васильевским, Воробьевыми горами с тенистыми рощами — и закатом вечернего солнца. Пожар поглотил наше убежище. Но в

---

<sup>1</sup> К.Н. Батюшков, Сочинения (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1955), стр. 327-44.

памяти моей осталось воспоминание твоей любви к изящным искусствам и охоты спорить, которая, конечно, укротилась от времени, а более всего от политических обстоятельств. «Итак, говори об Академии художеств, о произведениях наших артистов: я буду слушать с удовольствием. Всякая новость из столицы приятна пустынножителю, который и на старости лет еще пламенно любит отечество, успехи и славу сограждан». Вот что ты скажешь, развернув мое письмо.—Я начну мой рассказ сначала, как начинается обыкновенно болтливая старость. Слушай.

Вчерашний день, поутру, сидя у окна моего с Винкельманом в руке, я предался сладостному мечтанию, в котором тебе не могу дать совершенно отчета; книга и читанное мною было совершенно забыто. Помню только, что, взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную, на каторгу, благодаря привычке, жители петербургские смотрят холодным оком, любуясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, сим чудесным смешением всех наций, в котором я отличал англичан и азиатцев, французов и калмыков, русских и финнов, я сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу — лачуга рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый Финн...

За ланью быстрой и рогатой,  
Прицелясь к ней стрелой пернатой.

Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал молчание пустыни дикой, мрачной, а ныне?.. Я взглянул невольно на Троицкий мост, потом на хижину великого монарха, к которой по справедливости можно применить известный стих:

*Souvent faible gland recèle un chêne immense!*

[329]

И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные! Из крепости Нюсканц

еще гремели шведские пушки; устье Невы еще было покрыто неприятелем, и частые ружейные выстрелы раздавались по болотным берегам, когда великая мысль родилась в уме великого человека. Здесь будет город, сказал он, чудо света. Сюда призову все художества, все искусства. Здесь художества, искусства, гражданские установления и законы победят самую природу. Сказал — и Петербург возник из дикого болота.

С каким удовольствием я воображал себе монарха, обозревающего начальные работы; здесь вал крепости, там магазины, фабрики, Адмиралтейство. В ожидании обедни в праздничный день или в день торжества победы государь часто сиживал на новом вале с планом города в руках, против крепостных ворот, украшенных изваянием апостола Петра из грубого дерева. Именем святого должен был назваться город, и на жестяной доске, прибитой под его изваянием, изображался славный в летописях мира 1703 год римскими цифрами. На ближнем бастионе развевался желтый флаг с большим черным орлом, который заключал в когтях своих четыре моря, подвластные России. Здесь толпились вокруг монарха иностранные корабельщики, матросы, художники, ученые, полководцы, воины; меж ними простой рождением, великий умом, любимец царский, Меншиков, великодушный Долгорукий, храбрый и деятельный Шереметев и вся фаланга героев, которые создали с Петром величие Русского царства...

Таким образом, погруженный в мое мечтание, я не приметил, что двери комнаты отворились и сын моего старого приятеля Н., молодой, весьма искусный художник, приветствовал меня с добрым утром. «Я пришел нарочно за вами,—сказал он,— сегодня Академия художеств открыта для любопытных, и я готов быть вашим путеводителем, вашим чичероне, если угодно! Вы увидите много хорошего, полюбуетесь некоторыми произведениями русского резца и кисти; о других теперь ни слова. Посмотрите,— продолжал он, открывая окно,— какое прекрасное время! Весь город гуляет, и мы с толпой гуляющих неприметным образом пройдем в Академию».

«С удовольствием,— отвечал я молодому человеку,— около двадцати лет я не видал Академии, и как здесь все

[330]

идет исполинскими шагами к совершенству, то надеюсь, что и художества приведут меня в приятное изумление. Вот мой посох, моя шляпа — пойдём!»

И в самом деле, время было прекрасное. Ни малейший ветерок не струил поверхности величественной, первой реки в мире, и я приветствовал мысленно богиню Невы словами поэта:

Обтекай спокойно, плавно,  
Горделивая Нева,  
Государей зданье славно  
И тенисты острова.

Великолепные здания, позлащенные утренним солнцем, ярко отражались в чистом зеркале Невы, и мы оба единогласно воскликнули: «Какой город! какая река!»

«Единственный город! — повторил молодой человек. — Сколько предметов для кисти художника! Умей только выбирать. И как жаль, что мои товарищи мало пользуются собственным богатством. Живописцы перспективы охотнее пишут виды из Италии и других земель, нежели сии очаровательные предметы. Я часто с горестию смотрел, как в трескучие морозы они трудятся над пламенным небом Неаполя, тиранят свое воображение и часто — взоры наши. Пейзаж должен быть портрет. Если он не совершенно похож на природу, то что в нем? Надобно расстаться с Петербургом, — продолжал он, — надобно расстаться на некоторое время, надобно видеть древние столицы — ветхий Париж, закопченный Лондон, чтоб почувствовать цену Петербурга. Смотрите — какое единство! Как все части отвечают целому! Какая красота зданий, какой вкус, и в целом какое разнообразие, происходящее от смещения воды со зданиями. Взгляните на решетку Летнего сада, которая отражается зеленью высоких лип, вязов и дубов! Какая легкость и стройность в ее рисунке! Я видел славную решетку Тюльерийского замка, отягченную, раздавленную, так сказать, украшениями — пиками, касками, трофеями. Она безобразна в сравнении с этой».

Энтузиазм, с которым говорил молодой художник, мне весьма понравился. Я пожал у него руку и сказал ему: «Из тебя будет художник!» Не знаю, понял ли он мои пророческие слова, но, посмотрев на меня с улыбкою

удовольствия, продолжал: «Взгляните теперь на набережную, на сии огромные дворцы — один другого величественнее! на сии дома — один другого красивее! Посмотрите на Васильев-

[331]

ский остров, образующий треугольник, украшенный биржею, ростральными колоннами и гранитною набережною, с прекрасными спусками и лестницами к воде. Как величественна и красива эта часть города! Вот произведение, достойное покойного Томона, сего неумолимого иностранца, который посвятил нам свои дарования и столько способствовал к украшению Северной Пальмиры! Теперь от биржи с каким удовольствием взор мой следует вдоль берегов и теряется в туманном отдалении между двух Набережных, единственных в мире!»

«Так, мой друг,— воскликнул я,— сколько чудес мы видим перед собою, и чудес, созданных в столь короткое время, в столетие — в одно столетие! Хвала и честь великому основателю сего города! Хвала и честь его преемникам, которые довершили едва начатое им среди войн, внутренних и внешних раздоров. Хвала и честь Александру, который более всех, в течение своего царствования, украсил столицу Севера! И в какие времена? Когда бремя и участь целой Европы лежали на его сердце, когда враг поглощал землю русскую, когда меч и пламень безумца пожирал то, что созидали веки!..»

Разговаривая таким образом, мы подходили к Адмиралтейству. Помню, скажешь ты, помню эту безобразную длинную фабрику, окруженную подъемными мостами, рвами глубокими, но нечистыми, заваленными досками и бревнами. Остановись, почтенный мой приятель! Кто не был двадцать лет в Петербурге, тот его, конечно, не узнает. Тот увидит новый город, новых людей, новые обычаи, новые нравы. Вот что я повторяю тебе ежедневно в моих записках. И здесь то же превращение. Адмиралтейство, перестроенное Захаровым, превратилось в прекрасное здание и составляет теперь украшение города. Прихотливые знатоки недовольны старым шпирем, который не соответствует, по словам их, новой колоннаде, но зато колоннада и новые павильоны или отдельные флигели прелестны. Вокруг сего здания расположен сей прекрасный бульвар, обсаженный липами, которые все принялись и защищают от солнечных лучей. Прелестное, единственное гульбище, с которого

можно видеть все, что Петербург имеет величественного и прекрасного: Неву, Зимний дворец, великолепные дома Дворцовой площади, образующей полукружие, Невский проспект, Исаакиевскую площадь, Конногвардейский манеж, который напоминает

[332]

Партеон, прелестное строение г. Гваренги сенат, монумент Петра I и снова Неву с ее набережными!

Я хотел отдохнуть, и мы сели на одну из лавок бульвара. Площадь была покрыта каретами, бульвар — гуляющими. Между тем как я рассматривал знакомые и незнакомые лица, некто, человек пожилой и хворый, присел на лавку возле меня. Черты его мне были знакомы, но время изгладило из моей памяти его имя. Знакомый *незнакомец* глядел на меня пристально минуту, две, три... и, наконец, я узнал в нем Старожилова.

«Как ты переменялся!»—воскликнули мы оба, глядя пристально друг на друга. «Как все переменялось с тех пор, как я тебя видел здесь!» — прибавил Старожилов с тяжелым вздохом, от которого морщины на его лбу сделались еще глубже. Я не стану тебе говорить о вопросах, которые мы делали взапуски друг другу: можешь их легко угадать; скажу только, что наш старый знакомый, узнав намерение наше посетить Академию, взглянул на часы и сказал мне: «Теперь еще рано: к трем часам я могу поспеть в клуб, где я должен пробовать новое вино и сказать мое мнение насчет важного постановления в клубе, о котором я размышлял целое утро». Важность, с которою он говорил, заставила нас улыбнуться. К счастью, Старожилов того не заметил и продолжал: «Прогулка мне будет полезна, ибо сегодня солнце греет, как летом. Я побреду с вами в Академию — вовсе не из любопытства; там ничего хорошего нет. Я давно недоволен нашими художниками во всех родах, но мне нужно рассеяние, единственно рассеяние!» — прибавил он, кашляя беспрестанно.

Между тем как мы идем медленными шагами в Академию, соображаясь с походкою подагрика, я скажу тебе мимоходом, что Старожилов, которого мы знали в молодости нашей столь блестящего, столь веселого, столь рассеянного, ныне сделался брюзгою, недовольным, одним словом совершенным образцом старого холостого человека. Ты помнишь, что в молодости он имел живой ум,

некоторые познания и большой навык в свете. Ныне цвет ума его завял, прежняя живость исчезла, познания, не усовершенные беспрестанными трудами, изгладились или превратились в закоренелые предрассудки, и все остроумие его погибло, как блестящий фейерверк. Конечно, рассудок забыл шепнуть ему: старайся быть полезен обществу! Недеятельная жизнь, говорит мудрец Херонейский, расслабляет тело и душу. Стоячая вода гниет;

[333]

способности человека в бездействии увядают, и за молодостию невидимо крадется время:

Придут, придут часы те скучны.

Когда твои ланиты тучны

Престанут грации трепать!

Тогда общество справедливою холодностию отметит тебе за то, что ты был его бесплодным членом. Старожилов, проживший вертопрахом до некоторого времени, проснулся в сорок лет стариком, с подагрой, с полурасстроенным именем, без друга, без привязанностей сердечных, которые составляют и мучение, и сладость жизни, он проснулся с душевною пустотою, которая превратилась в эгоизм и мелочное самолюбие. Ему все наскучило, он всем недоволен: в его время и лучше веселились, и лучше говорили, и лучше писали. Трагедии Княжнина, по его мнению, лучше трагедий Озерова; басни Сумарокова предпочитает он басням Крылова, игру Сахаровой — игре Семеновой, и так далее. «Как скучна нынешняя жизнь!» — говорит он; и этому поверить можно. Зачем, спрашиваю я, зачем постоянно десять лет является он в клубе? Чтобы слушать, изобретать или распускать городские вести или газетные тайны, чтобы бранить нещадно все новое и прославлять любезную старину, отобедать и заснуть за чашкою кофе при стуке шаров и при единообразном счете маркера, который, насчитав 48, ненавистным числом напоминает ему его лета. Сонный садится он в карету и едва просыпается в театре при первом ударе смычка.

Разговаривая с ним о старине, которую я выхвалял из снисхождения, мы приближались к Академии.

Я долго любовался сим зданием, достойным Екатерины, покровительницы наук и художеств. Здесь на каждом шагу просвещенный патриот должен благословлять память монархини, которая не столько завоеваниями, сколько полезными заведениями заслуживает от признательного потомства имя великой и мудрой. Сколько полезных людей приобрело общество чрез Академию художеств! Редкое заведение у нас в России принесло столько пользы. Но чему приписать это? Постоянному и мудрому плану, которому следует с давнего времени начальство, и достойному выбору вельмож деятельных и просвещенных на место президентское. Я стар уже; но при мысли о полезном деле или учреждении для общества чувствую, что сердце мое бьется живее, как у юноши, который не утратил еще прелестной способности чувство-

[334]

вать красоту истинно полезного и предается первому движению благородной души своей. Вступая на лестницу, я готов был хвалить с жаром монархиню и некоторых вельмож, покровителей отечественных муз; но докучный Старожил воскликнул, с трудом переводя дух и отдыхая на первых ступенях: «Боже мой! какая крутая лестница! и как она узка и как безобразна! И к чему эта Венера с амазонками? Я никогда не был охотник до гипсов; лучше ничего или все — вот мое правило. Здесь надлежало бы поставить что-нибудь свое, произведение наших художников», и пр. и пр. Толпа у дверей не позволила ему окончить своего критического замечания, и мы остановились весьма кстати у двух превеликих сатиров, называемых теламонами, или атлантами (мужские кариатиды). «Вот украшение довольно странное,— заметил молодой художник,— и которое новейшие художники употребляли часто некстати, а более всего в Париже. Женские кариатиды еще безобразнее мужских. Можно ли видеть без отвращения прекрасную женщину, страдающую под тягостным бременем и с необыкновенным усилием во всех членах и мускулах поддерживающую целое здание или огромную часть оно? Одно жестокое сердце может любить такого рода изображения, и затем-то, может быть, французские артисты, тайно угождая вкусу Наполеона, ставили кариатиды везде, где только можно было. В некоторых его замках каждую дверь поддерживают две страдалицы. В самом музее их множество. Здесь же сии



кариатиды приличны, ибо могут служить образцами любопытным молодым художникам».

Мы вошли в ротонду, установленную гипсовыми слепками с антиков. «Вот консул Бальбус,— сказал мне наш спутник, указывая на большого всадника.—Подлинник статуи найден в Геркулануме». — «Но эта лошадь вовсе не красива»,—заметил Старожилов молодому артисту, качая головою.

«Вы правы,— отвечал он,— конь не весьма статен, короток, высок на ногах, шея толстая, голова с выпуклыми щеками, поворот ушей неприятный. То же самое заметите в другой зале у славного коня Марка Аврелия. Художники новейшие с большим искусством изображают коней. У нас перед глазами Фальконетово произведение, сей чудесный конь, живой, пламенный, статный и столь смело поставленный, что один иностранец, пораженный смелостию мысли, сказал мне, указывая на коня Фальконетова: «Он скачет,

[335]

как Россия!» Но я не смею мыслить вслух о коне Бальбуса, боясь, чтобы меня не подслушали некоторые упрямые любители древности. Вы себе представить не можете, что теряет в их мнении молодой художник, свободно мыслящий о некоторых условных красотах в изящных художествах... Пойдемте далее».

Мы вошли в другую залу, где находятся слепки с неподражаемых произведений резца у греков и римлян. Прекрасное наследие древности, драгоценные остатки, которые яснее всех историков свидетельствуют о просвещении древних; в них-то искусство есть, так сказать, отголосок глубоких познаний природы, страстей и человеческого сердца. Какое истинное богатство, какое разнообразие! Здесь вы видите Геркулеса Фарнезского, образец силы душевной и телесной. Вот умирающий боец или варвар; вот комический поэт и бесподобный фавн. Здесь прекрасные группы: Лаокоон с детьми— драматическое творение резца неизвестного! Вот Ария и Петус, и семейство несчастной Ниобы. Здесь вы видите Венеру, образец всего красивейшего, одним словом — Венеру Медицис. Вот целый ряд колоссальных бюстов Юпитера Олимпийского,

Кто манием бровей колеблет неба свод,

Юноны, Менелая, Аякса, Кесаря и пр. И, наконец, я спрашиваю себя, отчего сердце мое забилося сильнее?

Наполнил грудь Восторг священный,  
Благоговейный обнял страх,  
Приятный ужас потаенный  
Течет во всех моих костях;  
В веселье сердце утопает,  
Как будто бога ощущает,  
Присутствующего со мной!..  
Я вижу, вижу Аполлона  
В тот миг, как он сразил Пифона  
Божественной своей стрелой!  
Зубчата молния сверкает,  
Звенит в руке спущенный лук,  
Ужасная змия зияет  
И вмиг свой испускает дух.

Вот сей божественный Аполлон, прекрасный бог стихотворцев! Взирая на сие чудесное произведение искусства, я вспоминаю слова Винкельмана: «Я забываю вселенную,— говорит он,— взирая на Аполлона, я сам принимаю благороднейшую осанку, чтобы достойнее созерцать его». Имея

[336]

столь прекрасного бога покровителем, мудрено ли, спрашиваю вас, мудрено ли, что один из наших поэтов воскликнул однажды в припадке пиитической гордости:

Я с возвышенною везде хожу главой!

«Вот наши сокровища,— сказал художник Н., указывая на Аполлона и другие антики,— вот источник наших дарований, наших познаний, истинное богатство нашей Академии; богатство, на котором основаны все успехи бывших, нынешних и будущих воспитанников. Отнимите у нас это драгоценное

собрание и скажите, какие бы мы сделали успехи в живописи и в ваянии? Надобно желать, чтоб оно еще было удвоено, утроено. Здесь многого недостает; но то, что есть, прекрасно, ибо слепки верны и могут удовлетворить самого строгого наблюдателя древности».

Пройдя две небольшие залы, мы увидели толпу зрителей перед большою картиною. Вот новая картина г. Егорова! Одно имя сего почтенного академика возбуждает твое любопытство... Итак, я перескажу от слова до слова суждение о его новой картине, то есть то, что я слушал в глубоком молчании.

«Подойдемте поближе,— сказал Старожилов, надевая с комической важностию очки свои.— Я немного наслышался об этом художнике».

Художник изобразил истязание Христа в темнице. Четыре фигуры выше человеческого роста. Главная из них — спаситель, перед каменным столпом, с связанными назад руками, и три мучителя, из которых один прикрепляет веревку к столпу, другой снимает ризы, покрывающие искупителя, и в одной руке держит пук розог, третий воин... кажется, делает упреки божественному страдальцу; но решительно определить намерения артиста весьма трудно, хотя он и старался дать сильное выражение лицу воина—может быть, для противоположности с фигурою Христа.

«Посмотрите.— сказал нам молодой художник,— как туловище Христа нарисовано правильно, просто и благородно. Кажется, что глубокий вздох готов вырваться из поднятой груди его».— «Но лицо не соответствует красоте всего тела,— возразил Старожилов,— признайтесь сами, что глаза его слишком велики; в них нет ничего божественного».— «Я с вами не совсем согласен: положение головы прекрасно, и в лице вы видите сильное выражение страдания, горести и покорности воле отца небесного».— «К сожалению, эта

[337]

фигура напоминает изображение Христа у других живописцев, и я напрасно ищу во всей картине оригинальности, чего-то нового, необыкновенного, одним словом — своей мысли, а не чужой».— «Вы правы, хотя не совершенно: этот предмет был написан несколько раз. Но какая в том нужда? Рубенс и Пуссень, каждый писали его по-своему, и если картина Егорова уступает Пуссеновой, то, конечно, выше картины Рубенсовой...» — «Как что нужды? Пуссень и Рубенс писали истязание Христово: тем я строже буду судить художника, тем я

буду прихотливее. Если б какой-нибудь, впрочем, и весьма искусный, живописец вздумал написать картину преображения, я сказал бы ему: конечно вы не видали картины Рафаэлевой? Если б поэт вздумал написать нам Ифигению в Авлиде, я сказал бы ему: ее написал Расин прежде тебя,— и так далее». — «Но признайтесь по крайней мере, что мучитель, прикрепляющий веревку, которою связаны руки Христа, написан прекрасно, правильно и может назваться образцом рисунка. Он ясно показывает, сколько г. Егоров силен в рисунке, сколько ему известна анатомия человеческого тела. Вот оригинальность нашего живописца!» — «Это все справедливо, но к чему усилие сего человека? Чтобы затянуть узел? Я вижу, что живописец хотел написать академическую фигуру, и написал ее прекрасно; но я не одних побежденных трудностей ищу в картине. Я ищу в ней более: я ищу в ней пищи для ума, для сердца; желаю, чтобы она сделала на меня сильное впечатление, чтобы она оставила в сердце моем продолжительное воспоминание, подобно прекрасному драматическому представлению, если изображает предмет важный, трогательный. К тому же, согласитесь, что другой мучитель поставлен дурно. А воин?..он вовсе лишний, он ни на кого не глядит... хотя глаза его отверзты необыкновенным образом. К чему, спрашиваю вас, на римском воине шлем с змеем, и почему в темнице Христовой лежит железная рукавица? Их начали употреблять десять веков или более после рождества Христова; не значит ли это .....

«Конечно, так!— сказал Старожилову какой-то незнакомец, который долго вслушивался в разговор (мы приняли его за художника),— конечно, так! Если художники наши будут более читать и рассматривать прилежнее книги, в которых представлены обряды, одежды и вооружение древних, то подобных анахронизмов делать не будут». — «Но, признайтесь, государь мой, признайтесь, отлож

[338]

всякое пристрастие, что эта картина обещает дальнейшие успехи. Если обстоятельства, которые часто не благоприятствовали нашим артистам, если обстоятельства позволят ее живописцу заниматься постоянно сочинением больших картин, то можно ожидать, что он, утвердись в выборе, в употреблении и согласовании красок и познакомясь со многими механическими приемами

(тайны, которые должен угадывать художник в живописном деле), при твердой, правильной и красивой его рисовке, при изобретательном и благоразумном даровании, со временем не уступит лучшим живописцам итальянской, французской и испанской школы».

Будучи от природы снисходительнее и любя наслаждаться всем прекрасным, я с большим удовольствием смотрел на картину г. Егорова и сказал мысленно: «Вот художник, который приносит честь Академии и которым мы, русские, можем справедливо гордиться».

В следующих комнатах продолжались выставки и по большей части молодых воспитанников Академии. Я смотрел с любопытством на ландшафт, изображающий вид окрестностей Шафгаузена и хижину, в которой государь император с великою княгиней Екатериною Павловною угощены новым Филемоном и Бавкидою. Вдали видно падение Рейна, не весьма удачно написанное.

В той же самой комнате проект на соборную церковь и два проекта для монумента из отнятых у неприятеля пушек: оба не соответствуют прекрасной и высокой мысли.— Вот празднование пасхи в Париже Александром и его победоносными войсками. Какой предмет для патриота! С каким чистейшим удовольствием смотрел я на эту картину! Толпы народа и войска представлены ясно, но я заметил, что цвет неба и облаков холоден и тяжел.

Множество зрителей всякого звания толпились перед большою картиною, изображающею Христа с учениками и блудницею. Одни хвалили с жаром, другие осуждали. *De gustibus non est disputandum!* «Видно, что живописец,— сказал нам молодой наш путеводитель,— живописец, скупой на искусство и вкус, не пощадил полотна, розовой и голубой краски».— «И времени,— прибавил Старожилов.— Вы видите здесь и другую картину: Венеру розовую на голубом поле, с голубками и с Купидоном — неудачное подражание Тициану или китайским картинам без теней,— Венеру,

[339]

которая не имеет ни малейшего сходства с Венерою Омера, Овидия или Лукреция, но живым образом напоминает нам какую-нибудь богиню из шуточной поэмы Майкова или из «Энеиды, вывороченной наизнанку». Вы видите там, на другой стене, триумф государя, наподобие Рубенса. Теперь

взгляните на этого больного старика с факелом, подражание Жирану де ла Нотте, и признайтесь, что эти живописцы в своем подражании оригинальны. Они-то могут назваться со временем основателями новой итальянской школы, la Scuola Pietrobourghese, и затмить свою чудесною кистию славу своих соотечественников — славу Рафаэля, Корреджио, Тициана, Альбана и проч.»

Пускай глаза наши, ослепленные яркими красками сих живописей, на которых Ньютон мог бы открыть все преломления луча солнечного, пускай глаза наши отдохнут на произведении г. Есакова. Вот его резные камни: один изображает Геркулеса, бросающего Иоласа в море, другой — киевлянина, переплывшего Днепр. Большая твердость в рисунке! Пожелаем искусному художнику более навыка, без которого нет легкости и свободы в отделке мелких частей. Смелости у него довольно; а знаний?.. «Век жив», век учись,— сказал Старожилов.— Согласитесь, однакоже,— шепнул он молодому художнику,— согласитесь, что, кроме картины Егорова, мы ничего не видели совершенного или близкого к совершенству».

«Может быть! — отвечал он,— но прошу вас взглянуть на рисунок Уткина. Этот превосходный рисунок, как вы видите, изображает святую фамилию с Гвидо Рени. Другой рисунок — портрет князя Александра Борисовича Куракина и с него гравированный портрет сего вельможи». — «Вот истинное искусство! — сказал Старожилов, изменяя своему прекрасному правилу: Nil admirari.— Г. Уткин, известный и уважаемый в Париже, может стать наряду с лучшими граверами в Европе. Конечно, и в отечестве своем найдет он людей просвещенных, достойных ценителей его редкого таланта!»

Но с каким удовольствием смотрели мы на портреты г. Кипренского, любимого живописца нашей публики. Правильная и необыкновенная приятность в его рисунке,

[340]

свежесть, согласие и живость красок — все доказывает его дарование, ум и вкус, нежный, образованный<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> В собрании портретов г. Кипренского, по важности предмета и по отделке, занимают первое место: два портрета великих князей Николая Павловича и Михаила Павловича; голова старика с седою бородою или образец для апостольской головы; им же гравированный портрет и весьма схожий славного актера Дмитревского и рисованный черным карандашом — Фигнера, славного соглядатая нашей армии, о котором можно сказать, что Тасс говорил о Ваффрине:

Старожилов, к удивлению нашему, пленился мастерскою его кистью и, отрыв в своей памяти два итальянские стиха, сказал их с необыкновенной живостию...

Manca il parlar, di vivo altro non chiedi;

Ne manca questo ancor s'a gli occhi credi.

«Видите ли,— продолжал он,— видите ли, как образуются наши живописцы?

Скажите, что б был г. Кипрен-

[341]

ский, если б он не ездил в Париж, если бы...» — «Он не был еще в Париже, ни в Риме», — отвечал ему художник. «Это удивительно! удивительно!» — повторил Старожилов. «Почему? Разве нет образцов и здесь для портретного живописца? Разве Эрмитаж закрыт для любопытного, а особенно для художника? Разве не позволяется художнику списывать там портреты с Вандика, пейзажисту учиться над богатым собранием картин, единственных в своем роде? Или вы думаете, что нужен непременно воздух римский для артиста, для любителя древности, что ему нужно долговременное пребывание в Париже? В Париже? согласен; несколько дарований погибло в этой столице?

---

...per dritto sentier tra regie porte  
Trapassa; e or dimanda e or risponde.  
A dimande e risposte astute, e pronte  
Accoppia baldanzosa audace fronte.  
Di qua, di là sollecito s'aggira  
Per le vie, per le piazze, e per le tende.  
I guerrier'i destier' l'arme rimira;  
L'arti e gli ordini osserva e i nomi apprende.  
Nè di cio pago, a maggior cose aspira;  
Spia occulti disegni, e parte intende  
Tanto s'avvolge, e cosi destro e piano...

То есть: Прямым путем проходит через врата царские. Делает вопросы, дает ответы; хитрым вопросам и быстрым ответам соответствует его смелое и гордое чело. Туда и сюда проходит торопливыми шагами, чрез пути и площади между шатров неприятельских. Осматривая ряды воинов, коней и оружия, замечает порядок, искусство воинов; познает их имена. Сего не довольно: он стремится к высшей цели: проникает в тайные замыслы и хитрые намерения врагов.

Наш Фигнер старцем в стан врагов  
Идет во мраке ночи:  
Как тень, прокрался вкруг шатров,  
Все зрели быстры очи.  
И стан еще в глубоком сне,  
День светлый не проглянул,  
А он уж — витязь на коне,  
Уже с дружиной грянул...

Жуковский.

Рассеяние, все прелести света не только препятствовали развитию дарования, но губили его навеки».

«Вот московские виды», — сказал молодой художник, указывая на картины, изображающие Каменный мост, Кремль и пр. с большою истиною и искусством. Какие воспоминания для московского жителя! Рассматривая живопись, я погрузился в сладостное мечтание и готов был воскликнуть почти то же, что Эней у Гелена, в долинах Хаонейских, где все чудесным образом напоминало изгнаннику его священную Трою, рощи<sup>3</sup>, луга и источники родины незабвенной; я готов был сказать моим товарищам:

Что матушки Москвы и краше и милее?

Но Старожилов рассеял воспоминания о древней белокаменной столице громким и непрерывным смехом, рассматривая чудесные мозаики, в той же комнате выставленные.

Я взглянул на них с негодованием, пожал плечами и пошел в другую комнату, где ожидал нас портрет покойного гр. А. С. Строганова, писанный г. Варником. Вокруг него мы нашли толпу зрителей: одни хвалили смелость кисти, отделку платья, белого глазета и весь рисунок картины; другие, напротив, того, утверждали, что краски вообще

[342]

тусклы, отделка груба, не тщательна и пр., и пр., и пр., а я восхищался удивительным сходством лица.

«Так, это он! точно он! — сказал какой-то пожилой человек нашему путеводителю. — Эта прекрасная картина г. Варника возбуждает в моей памяти тысячу горестных и сладких воспоминаний! Она живо представляет лицо покойного графа, сего просвещенного покровителя и друга наук и художеств,

---

<sup>3</sup> Procedo, et parvam Trojam simulatque magnis,  
Pergama et arentem Xanthi cognomine rivum,  
Agnosco, Scarae que amplector limina portae и пр.  
Aeneid Liber III

[Я подвигаюсь вперед, и предстала вдруг малая Троя,  
Будто великий Пергам, будто бы Ксанф предо мной,  
Будто бы Скейских ворот я обнимаю пороги.  
«Энеида» (лат.).]



вельможу, которого мы будем всегда оплакивать, как дети нежного и попечительного отца. Полезные советы, лестное одобрение знатока, редкое добродушие, истинный признак великой и прекрасной души, желание быть полезным каждому из нас, пламенная, но просвещенная любовь к отечеству, любовь ко всему, что может возвысить его славу и сияние: вот чем отличался почтенный президент нашей Академии, вот что мы будем вспоминать со слезами вечной признательности и что искусная кисть г. Варника столь живо напоминает всем академикам, которые имели счастье пользоваться покровительством любезнейшего и добрейшего из людей. Черты, незабвенные черты нашего мецената будут нам всегда драгоценны!»

Художник говорил с большим жаром, и слезы навернулись на его глазах. Я был вне себя от радости, ибо я разделял вполне его чувства. Сам Старожилов был тронут и долго стоял в молчании пред почтенным ликом почтенного старца, престарелого Нестора искусств, истинного образца людей государственных; вельможи, который доказал красноречивым примером целой жизни, что вышний сан заимствует прочное сияние не от богатства и почестей наружных, но от истинного, неотъемлемого достоинства души, ума и сердца.

Долго сладкое впечатление оставалось в моей душе, и я, занятый разговором почтенного художника, прошел без внимания мимо некоторых картин ученической работы иностранцев, которые на сей раз как будто нарочно согласились уступить бесспорно преимущество нашим художникам, выставя безобразные и уродливые произведения своей кисти. Мы остановились у подножия Актеона (изобретения г. Мартоса), большой статуи, отлитой для гр. Н. П. Румянцева г. Екимовым: прекрасное произведение русских художников! «Заметьте,— сказал нам услужливый путево-

[343]

дитель наш,— заметьте, что литейное искусство сделало большой шаг в России, под руководством г. Екимова»<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Отлитая г. Екимовым фигура Актеона по разобранию формы не была ни опилена, ни отчеканена; но отлитие оной так совершенно, что по отбитии *путцев*, чрез которые течет в форму растопленный металл, осталось только всю фигуру пройти песком, для

Картина г. Куртеля — Спартанец при Фермопилах — привлекла наше внимание. Прекрасный юноша, сразившийся за свободу Греции, умирает один, без помощи, без друга, в местах пустынных. Кровавый долг Спарте отдан, оружие избито, кровь пролита ручьями из ран глубоких и смертельных, и последние минуты уходящей жизни принадлежат ему: последние взоры, исполненные страдания и любви, устремлены на медальон, изображающий черты, ему любезные. «Вот прекрасная мысль,— сказал я моим товарищам,— и выраженная мастерскою кистью». Но они заметили, и справедливо, что в фигуре нет ни соразмерности, ни согласия. «Это туловище небольшого фавна, приставленное к ногам Боргезского борца,— сказал молодой художник.— Конечно, много истины в выражении лица и мертвенности других членов; но, признаюсь вам, я неохотно смотрю на подобные сему изображения! И можно ли смотреть спокойно на картины Давида и школы, им образованной, которые напоминают нам одни ужасы революции: терзание умирающих насильственной смертью, оцепенение глаз, трепещущие, побледневшие уста, глубокие раны, судороги,— одним словом, ужасную победу смерти над жизнью. Согласен с вами, что это представлено с большою живостию; но эта самая истина отвратительна, как некоторые истины, из природы почерпнутые, которые не могут быть приняты в картине, в статуе, в поэме и на театре».

Разговаривая таким образом, мы оставили Академию.— Если мое письмо не наскучило пустынною, то я сообщу тебе продолжение нашей прогулки и разговора о художествах. Прости до первой почты.

N.N.

P.S. На третий день моей прогулки в Академию я кончил мое письмо к тебе и готов был его запечатать, как вдруг мне пришла на ум следующая мысль: «Если кто-нибудь

[344]

прочитает то, что я сообщал приятелю в откровенной беседе?...»—«Что нужды!—отвечал молодой художник Н., которому я прочитал мое письмо.—

---

того, чтоб ей дать общий цвет. Хвала г. Екимову, особливо за удачное во всех частях отлитие колоссальных статуй для Казанского собора, также конченных без чеканки!

Что нужды? Разве вы обидели кого-нибудь из художников, достойных уважения? Выставя картину для глаз целого города, разве художник не подвергает себя похвале и критике добровольно? Один маляр гневается за суждение знатока или любителя; истинный талант не страшится критики; напротив того, он любит ее, он уважает ее как истинную, единственную путеводительницу к совершенству. Знаете ли, что убивает дарование, особливо, если оно досталось в удел человеку без твердого характера? Хладнокровие общества: оно ужаснее всего! Какие сокровища могут заменить лестное одобрение людей, чувствительных к прелестям искусств! Один богатый невежда заказал картину моему приятелю; картина была написана, и художник получил кучу золота... Поверите ли, он был в отчаянии. «Ты не доволен платою?» — спросил я. «О нет, я награжден слишком щедро!» — «Что же огорчает тебя?» — «Ах, любезный друг, моя картина досталась невежде и сгниет в его кабинете; что мне в золоте без славы! В Париже художники знают свою выгоду. Они живут в тесной связи с писателями, которые за них сражаются с журналистами, с знатоками и любителями и проливают за них источники чернил. Две, три недели, часто месяц занимают они публику после первого выставления картин». — «Это все справедливо: но я мог ошибаться». — «Что нужды, если без намерения!» — «Но я употребил в моем письме новые выражения, например: *механический прием* (в живописном деле), желая изъяснить то, что французы называют *le faîte*, и боюсь...» — «Пускай другие переведут лучше, исправнее; у нас еще не было своего Менгса, который открыл бы нам тайны своего искусства и к искусству живописи присоединил другое, столь же трудное: искусство изъяснять свои мысли. У нас не было Винкельмана... Но запечатайте, запечатайте письмо: его никто не прочитает!» — повторил художник с хитрою улыбкою. И его слова успокоили меня, хотя не совершенно. Признаюсь тебе, любезный друг, я боюсь огорчить наших художников, которые нередко до того простирают ревность к своей славе, что малейшую критику, самую умеренную, самую осторожную, почитают личным оскорблением.